

вдячні за те, що доторкнулися до наукової творчості Ю.І.Машбиця.

Література

- 1.Выготский Л. С. Собрание сочинений: В 6-ти томах. Москва: Педагогика, 1982.
- 2.Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения. Москва: Педагогика, 1986. 240 с.
- 3.Машбиц Е.И. Психологические основы управления учебной деятельностью. Киев: Выща школа, 1987. 223 с.
- 4.Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний. Москва: МГУ, 1975. 343 с.
- 5.Фомічова Л. І. Знак в розвитку и социализации личности. Матеріали міжнародної наукової конференції «Information & Comunication Technology in Natural Science Education - 2013», Шяуляй, 2013.

*Татьяна Чайка
Нагария (Израиль)*

УВИДЕТЬ ЖИВОЕ ЛИЦО ИСТОРИИ (УСТНЫЕ ИСТОРИИ: СВИДЕТЕЛЬСТВА И СВИДЕТЕЛИ)

(лекция, прочитанная на Международном научно-образовательном семинаре «Диалог культур в гуманитарном образовании: нормы, ценности, практики» 13 июня 2012 г.)¹

**Устная речь всегда обращена к живому,
присутствующему собеседнику...**
Е. И.Машбиц и др.
Диалог в обучающей системе. – Киев, 1989.

...Представляю себе: если бы в те, уже далёкие от нас, двухтысячные в рамках проекта «Судьбы евреев в Украине: устные истории» мне или кому-либо из моих коллег довелось

¹ Впервые опубликовано в: Иудаика в Одессе : сборник статей по итогам работы программы по иудаике и израилеведению Одесского нац. ун-та им. И. И. Мечникова. – Вып. 2. – Одесса: Фенікс, 2013. – С. 133 – 148.

взять интервью у профессора Ефима Израилевича Машибица – ах, какая великолепная, неповторимая, лично окрашенная картина времени, человеческих отношений, научного творчества раскрылась бы перед нами! К сожалению, этому не суждено было случиться. Знаю, что рассказчик-то был готов, да вот спрашивающего не нашлось. Теперь, увы, ничего нельзя открутить назад: как всякая история, устная история не знает сослагательного наклонения. И сегодня я с грустью, но и с надеждой, что мой опыт в этой области для кого-то может оказаться интересен и полезен, посвящаю его светлой памяти Ефима Израилевича.

Всякое полноценное человеческое общение всегда имеет какой-нибудь неожиданный результат. Для меня таким неожиданным результатом нынешней встречи явилось сочетание тематики того, о чём говорил на нашем семинаре Ури Гершович¹, и того, что собираюсь предложить вашему вниманию я. Где, казалось бы, одно, а где другое? А дело вот в чём: Ури – человек текста, он воспитан на текстах, он разговаривает с текстом, он с ним в очень тесных отношениях, и они – Ури и текст – друг друга любят и понимают. Со мной же случилась такая странная история: я ведь тоже начинала как человек текста, моя основная научная работа – это работа с текстами Древней Руси, и диссертация моя об этом. Но в 90-е годы со мною произошло нечто, можно назвать это травмой, после чего я уже человек не текста, а того, что называется «устный нарратив». Вышло так, что основное мое общение последних 15 лет, не считая плановых тем в институте и т.п., это общение с изустным человеческим нарративом. И вот для меня очень интересна такая альтернатива – человек текста и человек устного нарратива. Надеюсь, что она окажется плодотворной – стереоскопия ведь всегда полезна.

¹ Гершович, Ури – исследователь средневековой еврейской мысли, сотрудник Открытого Университета Израиля и Центра Чейза Еврейского Университета в Иерусалиме.

У меня когда-то, ещё в юности, был такой опыт. В далёкие 80-е, в Риге, мы попали на встречу с эстонским художником и этнографом Тынисом Мяги. Мяги тогда исследовал латышскую – потом оказалось, что она трансконтинентальная – символику визуального изображения. Он изучал орнаменты. В частности, он нам представил так называемый Лиелвардский пояс. Что такое Лиелвардский пояс? Это действительно широкий пояс с очень красивым, очень тонким орнаментом, который то ли вышит, то ли выткан на холсте. То есть, попервоначалу казалось, что речь должна идти о чисто эстетическом восприятии и удовольствии. За два часа, однако, Тынис Мяги нам доказал, что это книга, причем книга с мировым контекстом. Оказывается, всё то, что там изображено, – это знаки, сочетания символов из разных частей света, то есть некий трансконтинентальный, общечеловеческий символический текст, вернее, рассказ. Заключительная сцена выступления Мяги осталась у меня в памяти на всю жизнь. Он стоит и держит этот пояс, как мы бы стояли и просматривали киноленту, он его читает, читает как книгу. Вот этот образ символического, знакового прочтения тогда меня очень впечатлил. Думаю, что в качестве подобного «Лиелвардского пояса» может выступить что угодно, это может быть орнамент, картина, а может, и стена за окном. И это очень продуктивная вещь. Имея опыт устного нарратива и его истолкования, я, слушая Ури, на минутку представила себе: что, если бы мои интервьюируемые, рассказывая о событиях, свидетелями которых они были, имели такое же «текстуальное» мировосприятие, если бы у них мы находили символическое прочтение или символическую подачу того, чему они были свидетелями? И знаете, я пришла в ужас. То есть, ставя вопрос шире, если бы история, которую нам рассказывают тексты культуры, передавалась только таким образом, что бы мы из нее узнали? Я не могу не думать о зонах риска такого прочтения, которое структурирует смыслы то ли чисто психологически, то ли символически, в любом случае – на основе той или иной обобщающей парадигмы. И вот, что бы мы получили из такой истории? Говоря о свидетелях и

свидетельствах, я, вообще-то, должна была начать с того, что всё это составляет область, которая в академическом мире сегодня называется *oral history* («устная история»). Вроде бы нужно сказать, что эта область существует уже целых пятьдесят лет, но вдруг ловишь себя – какие пятьдесят лет, да с этого история вообще и начиналась, с устного предания, устного нарратива. Так что кто кого старше и «кто кого родил» – это еще большой вопрос. В этом контексте снова спросим себя: что бы мы получили, если бы мои свидетели-респонденты исходили в своём рассказе не из личных и непосредственных впечатлений, а из тех или иных заранее имеющихся у них общих суждений об историческом процессе? На самом деле никакой интриги нет, потому что любая письменная история основывается на определённой парадигме, любая история – до некоторой степени мифологема. Мои респонденты, как правило, попервоначально и выдавали те самые мифологемы. На нашей конференции кто-то уже говорил о том, что даже если мы морщимся при слове «идеология», все равно она из нас лезет, только мы этого не замечаем. И таким образом оказываемся во власти её худшего варианта. Так Маркс говорил когда-то о философии: те, кто от неё бегут, на самом деле попадают в её сети, только в её худшем виде. Конечно, мы все в какой-то степени клишированы. Всем нам свойственно то, что когда-то хорошо выразили Стругацкие в «Улитке на склоне»: там в обычной своей естественной жизни человек говорит обиходно разумные или неразумные вещи. Но вот что-то такое с ним происходит, у него возникает розоватый нимб вокруг головки, и он начинает вещать «газетными» фразами – что-то как бы диктуется ему прямо свыше. Понятно, о чем у Стругацких шла речь: вещь написана в 60-е годы и для того, чтобы это понять, не нужно особенно глубоких семантических изысканий. У меня же, как интервьюера, задача другая: на уровне собирания свидетельств мне необходимо найти средства, чтобы уйти от любого клишированного способа прочтения – символического, идеологического, парадигмального. И дойти до того первичного естественного впечатления, которое сохранилось у человека. И тогда мы

получим живой и теплый срез человеческой памяти, дышащий. Другое дело, что мы потом будем с ним делать.

Ведь свидетель на самом деле – это кто? Это тот, кто *видел*, отсюда *c-видетель*. Он видел, он пережил, он это помнит и он готов об этом рассказать. Вот четыре позиции, из которых мы исходим. Отсюда наша задача. Свидетель – человек не просто видевший, а и переживший и помнящий, и он как таковой сформирован не клише, не идеологией, даже не какой-либо парадигмой, а самим событием. И очень важно постараться взять информацию о событии и о нем в этом событии его глазами: не глазами, скажем, определенного общественного слоя, даже не глазами его референтной группы, а именно *его* глазами. Мне довелось работать со свидетелями, опыт которых был исключительно травматичен: это был опыт Холокоста. Среди них были свидетели, которых мы называем праведниками между народами – те, кто помогал преследуемым, кто их спасал, кто «исправлял мир». Их опыт избирателен, потому что они всегда стояли перед выбором, в отличие от жертв Холокоста. Были также свидетели, которых принято, и в общем неправильно принято – здесь я согласна со своим израильским коллегой Анатолием Кардашем, он очень протестует против этого термина – называть *bystanders*. Буквальный перевод – «рядом стоящий»; вообще говоря, это основное население местечка или города, где все это происходило. *Bystanders* не попадали в акции, они никого не спасали, они видели, они наблюдали. И вот этот опыт *bystanders*, «рядом стоящих», очень показателен, интересен. К сожалению, у меня нет опыта интервью – таких интервью вообще было чрезвычайно мало – с «исполнителями» Холокоста... Видевшие, пережившие, помнящие Холокост – одна большая группа свидетелей, с которыми я работала.

Другой проект устной истории, в котором я принимала участие, это проект «Судьбы евреев в Украине: устные истории». В его рамках мы собирали свидетельства не только тех, кто пережил Холокост, но всех тех, кто прожил свою жизнь в Украине. Этот опыт невероятно многогранен, очень интересен,

и тут тоже нужно освобождаться от клише, потому что иначе мы если не получим прямо газетную вырезку, то в любом случае не узнаем ничего нового. И еще один интересный ракурс – это проект «История отечественной философии в пространстве устной истории». Этим я занимаюсь теперь. На самом деле, название и сама попытка весьма парадоксальны – писать историю философии по устным рассказам философов. Тем не менее, она оказалась очень интересной, я надеюсь, что будет и удачной.

Когда я читала книгу Пола Томпсона «Голос прошлого»¹, мне запомнились его слова: «эта живая и теплая история». Предмет его размышлений – действительно *голос* истории, не текст, а голос, который мы слышим. Это очень важно, потому что в устном нарративе информацией для нас является не только то, *что* говорит человек, а – иногда даже в большей мере – то, *как* он говорит, с какими паузами, как он интонирует сказанное, расставляет интонационные акценты. Вот он вдруг начинает говорить шепотом или невнятно – это тоже имеет свой смысл. Вплоть до его выговора, до местного диалекта, до акцента. Всё это, конечно, вещи уникальные, неповторимые. И мне кажется, что именно такой нарратив, записанный на звуковой носитель, очень помогает развитию духа толерантности, поддерживает в нас, как сказал бы Михаил Пришвин, способность родственного внимания. Видите ли, сложно испытывать «родственное внимание» к тексту. Надо много работать и находиться на очень высоком уровне восприятия письменного слова, чтобы испытать к нему родственное внимание. А вот испытывать родственное внимание к слову произносимому, к устному нарративу гораздо естественней – не скажу, что легче. Потому что иногда он, этот нарратив, вызывает такую антипатию, какую не вызовет никакой текст – то есть, вроде бы, то же самое, но записанное в буквах, которое мы с вами читаем. Я хочу сказать, что в восприятии устного нарратива имеет место то *плотное касание*, которое может быть теплым, живым, сочувственным

¹ См.: Томпсон П. Голос прошлого. Устная история / Пер. с англ. – М.: Изд-во «Весь Мир», 2003. – 368 с.

прикосновением к тому, чему мы сами не были свидетелями, - а может обладать и совершенно противоположными свойствами.

Когда я впервые услышала название израильского центра «Яд Вашем», которое переводится как «Имя и память», прежде всего я подумала, что это эстетически красиво. Я еще тогда не знала, что значит имя в еврейской традиции. И только в процессе своей интервьюерской работы я поняла, что с людьми надо начинать разговор с их имени. Спрашиваешь человека, а кто его так назвал, что, по его мнению, его имя значит... И вот оказывается, что люди, которые были закрыты, которые были настроены отвечать по принципу: не был, не присутствовал, не прописан, не проживал и так далее, вдруг начинают раскрываться, рассказывать что-то своё, настоящее. Имя оказывается ключиком. Вообще в еврейской традиции обладание определенным именем имеет огромное значение. Особый случай – имя умершего для его родственников. Правверный еврей не может произнести кадиш по умершему, пока по имени его не назовет. Мои коллеги из «Яд Вашем» говорят, что одна из главных их задач – возвращение имени тем, кто погиб безымянным. Это не просто эстетическая, психологическая и гуманитарная, но и глубоко символическая, можно сказать, парадигмальная задача. Восприятие истории через имя – это как бы возвращение ей человеческого лица.

Не могу не рассказать вам такую историю, она стала для меня символичной. У меня было интервью с женщиной, которая, будучи маленькой девочкой, пережила гибель родителей, их сожгли на ее глазах. Она росла сиротой в детском доме. О том, что она еврейка, она узнала уже в достаточно зрелом возрасте. И вот какой проблемой она со мной поделилась: «Понимаете, мне рассказывали, что меня нашли, подобрали, кто-то прятал. Я смутно помню лица своих братьев и папино лицо, а вот мамино не могу вспомнить. И это меня напрягает всю жизнь». У нее уже есть дети, внуки, большая семья – когда я с ней говорила, ей было за шестьдесят. Она говорила: «Я бы хотела всё-таки умереть с тем, что я могу как-то представить себе лицо мамы. Если не знать её имя, то хотя бы

представить лицо». К счастью, в этом нашем интервью сработал метод ассоциаций. Когда я просила её припомнить разные картиночки из своего детства, поначалу и такая картинка не складывалась, и такая. И вот я предлагаю ей вспомнить самый счастливый момент её детской жизни. Вдруг она говорит: «День рождения, я помню, что мама мне подарила ботиночки. Она их сама связала. Вязаные ботиночки она мне подарила, я это помню». А я говорю: «Как это было?» «Мама мне их дала». «А как дала?» «Мама мне их дала, а я пошла». «А как пошла? Сама их одела?» «Нет, не сама. Мама одевала». «А как она одевала? Она наклонялась?» «Нет, мама посадила меня на стол, а сама присела рядом на корточки. И она одевала мне эти ботиночки, а я смотрела на неё сверху вниз. Все! Увидела, вспомнила мамино лицо... Когда она одевала мне эти ботиночки, она поднимала голову вверх и спрашивала: не жмёт?..». Понятно, что любой психотерапевт расскажет, как подобные вещи происходят, лучше, чем я, но дело не в этом. Наша задача – так воссоздать конкретную человеческую историю, чтобы действительно можно было увидеть и вспомнить лицо матери. Когда мы нашу историю будем чувствовать так, то, наверное, нас будет труднее расчеловечить. Для меня это принципиально, и я хочу сказать об этом подробнее.

Виктор Аронович Малахов говорил в своем выступлении о «практиках человечности», а я бы хотела поговорить о *практиках расчеловечивания*, в поле которых мы с вами живем. Нас действительно расчеловечивают – основательно и глобально. Иногда мы это чувствуем только по результатам, иногда и результатов не чувствуем. Я еще помню время, когда выражение «это ваши проблемы» считалось грубостью - теперь нет. Иногда нас расчеловечивают так, что мы и заметить этого не в состоянии. Задача состоит в том, чтобы противостоять этому расчеловечиванию. Что даёт для этого история? Вместе с любым способом прочтения текста у нас должен вырабатываться такой взгляд, такое его восприятие, которые, образно говоря, позволяют человеку узнать лицо матери. Так, чтобы мы увидели это лицо, чтобы мы стремились

его увидеть, чтобы мы пытались его увидеть. Живое лицо истории – это то, что всем нам необходимо, не менее чем живое лицо нашего современника, человека, сидящего рядом.

И вот, лицо истории, ее свидетельства не будут явлены полностью, если, изучая Холокост, мы не будем при этом понимать, что происходило с теми, кто спасал. Для жертв ситуация была такова, что выжить без чьей-то помощи было невозможно. Если люди оставались в живых, то только благодаря кому-то. Но ведь это был не просто некто абстрактный, даже не просто украинец, христианин или не христианин – это был человек, который имел конкретное лицо. И понять, и увидеть его невероятно важно для нас. И, как оказалось, очень трудно.

Первый мой «облом» был, когда я стала спрашивать у тех, кто спасал: «А почему вы это делали? А как вы это делали? Вы же понимали, что рисковали, ведь у вас были дети?» И это было моей ошибкой: вместо живого впечатления мне, как правило, выдавали клише, стереотип. В первую очередь это происходило тогда, когда моими респондентами оказывались учителя, журналисты, писатели. Они мне начинали бойко проговаривать свою уже написанную книжку или газетную статью. И это становилось неинтересным, потому что лица не было, не было живой истории. А люди, которые не были так клишированы, как правило, не понимали самого вопроса, он просто выбивал их из ситуации. Действительно, у каждого из нас спроси, а почему ты в экстремальных условиях сделал то или это? Скорее всего, человек скажет, что не понимает, почему он так поступил. А вот для моей респондентки Гали из Каменец-Подольского сама постановка такого вопроса оказалась невозможной. В 42-м ей было около двадцати лет. Когда в подвале своего дома она застала молодую еврейку с двумя маленькими детками, она, не раздумывая, запихнула их подальше в подвал, спрятала за мешками и бочками. Риск был огромный. Их надо было кормить, выносить за ними всё, что положено. К тому же, беглянка оказалась беременной, на сносях. У самой Гали – двухмесячный малыш и муж-полицай.

И всё происходящее Галя, разумеется, должна была скрывать не только от мужа, но и от соседей. И вот, когда ее заметили не со своим ребенком, она взяла новорожденного и пошла регистрировать его в гестапо как свое дитя. Я спрашивала её, почему она это сделала, но она меня не поняла. Мне пришлось долго с разных сторон к этому подходить. Наконец, она сказала: «Мы же мамы. Она же мать». Не о себе сказала, а о той, кого она спасала. Тогда-то я поняла, насколько бессмысленным в этом контексте был мой вопрос. Или вот еще случай, когда женщина к себе под юбку спрятала малышку. Везли в машине евреев на расстрел, вдруг маленькая пятилетняя девочка спрыгнула с машины или упала. Она бежит по улице и кричит: «Рятуйте!». Все стоят, никто не бросается на помощь, потому что у всех дети. К счастью, у ворот своего дома оказалась Мария Украинец с тремя своими маленькими детьми. Ей, кстати, было уже хорошо за тридцать. И она, не раздумывая, прячет эту девочку под свою большую цыганскую юбку. Бежит сосед Ваня, полицаи, и кричит: «Тут девочка только что бежала!» А она говорит, что не видела. «Ну, вот же твои стоят». «Тут только мои дети». И когда я ее спросила, как она отважилась на такой поступок, она говорит: «То це ж моя дитина». «Какая «ваша дитина», она же еврейка?» «Яка єврейка, ми ж усі Божі». Тут была явно не психологическая, а мировоззренческая мотивация. То есть такой вопрос ставить нельзя, он выпадает из этой парадигмы. И только тогда, когда я перестала задавать подобные вопросы, все пошло замечательно, люди сами стали рассказывать.

Следующая, наряду со спасавшими, группа свидетелей – *bystanders*. Проект Спилберга разрешения на интервью с ними нам не давал. Его учредители первоначально считали, что эти свидетели – не свидетели. Те, кто пострадал, и те, кто спасал – да, а остальные – фон. Мы нарушали эти запреты всякими хитростями и все-таки брали такие интервью, они оказались очень интересными. Благодаря им мы получали картинку опыта людей не тех, которые что-то делали, а тех, которые ничего не делали. Изначально, тем, кто что-то делал, от евреев

благодарность. А как относиться к тем, кто не делал? Первая реакция на них – это либо осуждение, либо равнодушие. Потом, однако, когда начинаешь думать, вникать в то, о чем они говорят, а говорят они разное, ты понимаешь, что ты в них камень не бросишь. Ведь человек на самом деле имеет право выбора – открыть ему кому-то дверь или не открыть. И дело даже не в том, хочет он или не хочет, очень часто он хочет, но у него духовных сил не хватает. Он слишком боится за свою семью (особенно это касалось женщин), он не может переступить через свой страх или еще через что-то. И он этого не делает, и ты камень в него не бросишь. Зачастую такие свидетели оказывались невероятно важными и интересными.

Вот история, которая произошла в лагере в пятидесяти километрах от Каменец-Подольского. В 1941–1943 гг. там строили дорогу через дикие лесистые места, от лагеря до города. Строили дорогу евреи, в основном это были женщины и подростки, которых не взяли в армию; по мере того как работа подходила к концу, их уничтожали. В этом лагере служила семья, которая жила под Каменец-Подольским, отец и два брата. Один брат был постарше, ему было девятнадцать, а нашему герою, Петру, лет семнадцать. Отца «советы» раскулачили, и он пошел в полицаи по личным мотивам: он не был антисемитом, просто хотел отомстить «советам» и жить так, как жили прежде. Немцы хорошо платили, он работал, постепенно пристроил старшего сына, младшего тоже пристроил. Петр подвозил воду к лагерю; он тогда ещё не задавался вопросом, где же он работает. Так он проработал полгода и забрал пропуска отца и брата, потому что их уже хорошо знали и пускали без документов. И вот он стал потихонечку выводить из лагеря людей, которые по возрасту примерно совпадали с отцом и братом - фотографий в аусвайсах ведь не было, там записывались только имя и возраст. Несколько раз это прошло удачно. Он мне сказал, что ему просто жаль стало людей. А потом ему понравилась девочка. Вывести ее он мог, потому что у него была еще сестричка. А девочка не захотела, и в этом вся коллизия. Она сказала: «Я не хочу спастись, на моих глазах погибла вся моя семья, я осталась

одна, единственное мое желание – умереть». В день расстрела он ее подхватил на руки уже на краю ямы, сказав, что это его сестра Ганя, по ошибке оказавшаяся здесь, и немцы позволили ему ее забрать. Он донес ее до ворот лагеря. А на воротах стоял его одноклассник, который сказал немцам, что никакая это не сестра, что это Ханна Бирман, жидовка. И тогда комендант лагеря отправляет Петра и Ханну в Каменец с конвоиром, солдатом-немцем, которому было лет за сорок. Конвоир должен был отвести их к коменданту города с предписанием повесить их публично на площади, чтобы другим неповадно было. Вот их ведут немец и полицаи, который их раскрыл, одноклассник Петра. Родной язык девочки идиш, она понимает по-немецки и слышит, что немец что-то бормочет, он страшно не доволен. Затем, на ломаном русском, немецкий солдат говорит парню-полицая: «Давай их отпустим». «Нет, как это отпустим?» «Пусть они бегут, мы дадим им убежать». «Нет, я их доведу, мне деньги и железный крест за это дадут». А немец ему: «Деревянный крест получишь», – и убивает полицая, расстреливает его. Развязывает ребят, говорит парню, чтобы он ранил его в руку. «Бегите, – говорит, – и чтобы я вас больше не видел». На этом, однако, история беглецов не заканчивается. До весны 1944 г., до самого освобождения их еще много раз прятали разные люди.

Я увидела эту пару в 1997 или 1998 году: Петро, седовласый красавец с глазами цвета юного майского неба, и Ханна, маленькая, изящная, кокетливая. У них уже были взрослые внуки, а он ее до сих пор на руках носил. У нас есть такая опция в интервью, когда я опрашиваю людей вместе, после того как поговорим с каждым отдельно. Вот я спрашиваю Петра: «Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь встречались в жизни с героями? Вы понимаете, что такое героизм?» А он отвечает: «Очень жаль: такого не видел в жизни, не случилось, не знаю таких». Спрашиваю Ханну: «Ханна, а вы в своей жизни с героем встречались?» Она, глядя в глаза мужу, улыбаясь, говорит: «Не повезло, не видела, не было такого». Вы понимаете, что никакими клише это не объяснишь. Для меня это

та самая живая история с живым человеческим лицом. И вот такие свидетельства бесценны. На самом деле, все мы свидетели, и каждый мог бы о многом рассказать, и в этих рассказах было бы столько смысла, столько человеческого опыта... Только вот, кто нас спрашивает? Вопрос о наличии *спрашивающего*, вопрос о реальном создании такой истории – это очень большая проблема.

И еще об одном проекте устной истории хочу я здесь рассказать – на этот раз, истории отечественной философии II пол. XX в.

Еще работая в программе Спилберга, я убедилась, что, начав заниматься устной историей, оторваться от этих занятий уже невозможно, просто невозможно без них жить. И мне, конечно, по-человечески очень повезло, что интерес к устной истории сегодня проявился и в области историко-философских исследований. Еще мне повезло в том, что моими собеседниками-философами оказались такие замечательные люди, как Вилен Сергеевич Горский, которого я числю своим учителем, великолепный методолог и знаток философской культуры Древней Руси, Сергей Борисович Крымский, Мирослав Владимирович Попович, Петр Федорович Йолон. Все это представители одного поколения. Двоих из них, Вилену Сергеевича и Сергея Борисовича, уже нет в живых.¹ С Виленом Сергеевичем у меня записано более десяти часов разговора, с Сергеем Борисовичем – более двадцати, ну а с Петром Федоровичем – вообще где-то за пятьдесят. Материалы интервью с В. С. Горским частично опубликованы в серии статей, относительно же интервью с С. Б. Крымским так сложилось, что у меня появилась возможность, помимо цикла статей в «Філософській думці», написать и издать на их основе книгу. Книга называется «Наш разговор длиною в жизнь»; так

¹ С горечью вынуждена добавить, что к настоящему времени (2019 г.) Мирослав Владимирович Попович и Пётр Фёдорович Йолон также уже ушли из жизни.

когда-то охарактеризовал жанр нашего общения сам Сергей Борисович.¹

Обращение к таким незаменимым свидетелям своего времени, как только что упомянутые отечественные мыслители, проливает, как мне кажется, некоторый новый свет и на саму проблему свидетельства, столь остро стоящую ныне. Как вообще работать со свидетельствами, что делать со свидетельскими текстами, как их интерпретировать? Когда говоришь с традиционными историками, замечаешь, что они не без пренебрежения относятся к такого рода информации. Начинает амплитуду выражение глубокого скепсиса: ну, мол, сказать, конечно, можно все. Однажды я услышала парадоксальную фразу – «врет как очевидец». Только впоследствии я поняла глубокий смысл этой сентенции: по существу, она очень близка к тому, о чем мы с вами говорили. Любой человек смотрит на что бы то ни было с характерным именно для него «наклоном». Учитывать этот «наклон», делать на него поправку очень важно. Дальше начинается методика работы с устной историей, с материалами устной истории. Об этом уже написано много книг. Имеются определенные методики, методологии, пригодные для эффективного применения в данной области. В этой связи я хочу сослаться на Инну Владимировну Голубович и ее концепцию «биографического метода» - и еще раз ее поблагодарить. Знакомство с ее трудами² существенно для всех, кто занимается устной историей. Для себя я давно поняла, что если у меня установка на живое лицо истории, то мне без биографии никак

¹ См.: Сергей Крымский: наш разговор длиною в жизнь. (Цикл интервью Т. А. Чайки). – К.: Издательский дом Дмитрия Бурого, 2012. – 436 с. В дальнейшем удалось издать отдельной книгой и интервью с Виленом Сергеевичем Горским: *Горский В. С. Я прожил счастливую жизнь* (цикл интервью Т. А. Чайки). – К.: Издательский дом Дмитрия Бурого, 2014. – 176 с.

² См.: *Голубович И. В. Биография: силуэт на фоне Humanities*. – Одесса: СП Фридман, 2008. – 397 с.; *её же. Основы теоретической биографистики: Учебное пособие для студентов специальностей «Философия» и «Культурология»*. – Одесса: «Акватория», 2015. – 120 с.

не обойтись. Я без биографии человека ничего не пойму из того, что он мне рассказывает. Соответственно и мои разговоры с философами имели две стороны, то есть две интересные, как мне кажется, особенности. Первая особенность это то, как человек видит и понимает свою собственную жизнь, свое время, людей, которые были рядом. Вторая – как это получилось в разговорах с В.С. Горским и С.Б. Крымским – изложение их научной концепции ими самими. Мы ведь как зачастую с вами работаем? Мы берем произведение того или иного художника или мыслителя и начинаем его комментировать, доискиваться, что «художник хотел сказать своей картиной». Или же, как замечательно выразился Ури Гершович, мы «начинаем пытаться текст». Действительно, когда мы текст интерпретируем, истолковываем, пусть это не талмудический текст, а книги выдающихся философов, давних или наших современников, как это делают уже, например, с работами Сергея Борисовича Крымского, то очень часто это похоже на пытку. И естественно, что текст «под пыткой», как все под пыткой, что-то нам выдает – нам кажется, свою подлинность. Но вы ведь помните этимологическое значение слова «подлинность»? Этимологически «подлинное» – это то, что человек говорит под линём, под розгой. Очень часто то, что мы получаем в качестве интерпретации текста - это то, что он нам выдает как бы под розгами. В этом смысле уникальным является опыт, когда сам философ, например, С.Б. Крымский, рассматривает свою концепцию. В книге «Наш разговор длиною в жизнь» есть глава, которая называется «Концепция: атакующий обзор» - название предложено самим Крымским. В ней Сергей Борисович предпринял беспрецедентную попытку «атакующим обзором» представить собственную концепцию в устном изложении. На мой взгляд, это невероятно интересно. Интересно, во-первых, то, как он видит результаты собственных размышлений по прошествии пяти, семи, десяти лет. Во-вторых, это интересно сравнить с тем, что самим же Крымским было написано, т.е. с тем, что прошло внутреннюю цензуру и академические шоры. Это тот уникальный случай, когда сам

автор как бы становится перед нами и говорит: «Этим своим произведением я хотел сказать то-то и то-то». Кстати, такая позиция творца – творца в любой области – не всегда безупречна, и не всегда подобного рода высказываниям следует доверять. Потому что, когда, например, композиторы, даже гениальные, начинают отвечать на вопросы «А как вы это сделали? Для чего вы это сделали?» – ответы оказываются всегда хуже, беднее того, что реально написано. Но, тем не менее, для меня это очень интересный опыт, и я буду с нетерпением ждать откликов. Поскольку Сергей Борисович ушел от нас, я остаюсь тем, кто «принимает удары».

Далее, целый комплекс пока еще недостаточно изученных трудностей и проблем связан с подготовкой материалов устной истории к печати, начиная с расшифровки звукового носителя вплоть до окончательной отделки читабельного варианта. Все это – процесс достаточно трудоемкий. Вот и над книгой моих интервью с Крымским, а в ней сам текст интервью занимает триста пятьдесят страниц, мы с моим редактором-помощницей Мирославой Карацубой работали более года, причем работали достаточно напряженно. Казалось бы, что мы такое делали? Ведь все уже сказано, рассказано, записано. Оказывается, что письменное слово и устное слово – это две большие разницы, как говорят у вас в Одессе. Перед нами стояла задача *записать устное слово*, не превратив его при этом в письменное. Какой в этой процедуре смысл? А вы попробуйте оставить устное слово на письме так, как оно есть, без интонационной поддержки самого процесса говорения – вы не представляете, что это такое. Вот попробуйте буквально записать любой ваш разговор, монолог, диалог, что угодно, а потом это в расшифровке прочитать. Ручаюсь, что это будет очень плохо воспринимаемая вещь. Задача, таким образом, состоит в том, чтобы текст устный превратить в читабельный, но так, чтобы сам «хабитус» устной речи, ее энергетика и динамика были сохранены. Я, пока не начала этого делать, не понимала, как это трудно. Трудно – но безумно интересно. В приложении к книге разговоров с Крымским помещены эссе нескольких человек, которые знали

Сергея Борисовича лично. В частности, есть мое интервью со знаменитым композитором Валентином Васильевичем Сильвестровым - они с Крымским были очень дружны. В этом интервью я спрашиваю Сильвестрова: «У вас ведь с Сергеем Борисовичем разные взгляды на творчество. Что вы имели в виду, когда ему возражали?» Смысл его ответа, насколько я могу припомнить, был таков: «Мы подходим к процессу познания любопытствуя – а хорошо бы это, а интересно, что получится, если то, а давайте мы вот это с этим соединим или разъединим. Давайте будем гонять звуки табунами туда-сюда и посмотрим, что из этого выйдет. Любопытно было бы знать. От этого любопытства проистекает и определенное отношение к тексту, мы начинаем его пытаться. Текст под пыткой нам выдает что-то, что мы считаем творчеством. А по-настоящему, нужно дождаться *от него* ответа, как бы закидывая пробный камешек к тексту, звуку, любому материалу, в котором мы творим, и посмотреть, как и где это отзовется. Дождаться музыки, услышать отзвук, не пытаться бытие с высот своей парадигмы, а постараться его услышать. Любое творчество, композитор ли пишет музыку, философ ли создает текст – это когда вы дожидаетесь отклика». Мне все это чрезвычайно близко. Я иначе стала смотреть на текст, я теперь стараюсь не со своим личным «наклоном» в него вторгаться, а пытаться его «запросить» и услышать. Понятно, что и от «наклона» своего я никуда не денусь. Но очень важна установка на то, чтобы услышать отзвук и, по выражению Сильвестрова, *дождаться музыки*.

Наконец, мне представляется существенным обратиться к проблеме вины и ответственности, как она очерчивается в контексте устной истории. Одно дело, когда я осознаю свою ответственность перед историей, как перед неким массивом знаний, парадигм, идеологием, мифологием. Где я, а где они? Совсем другое дело, когда история вспыхивает передо мной, как забытое лицо мамы. Мое отношение к ней в обоих случаях совершенно разное – отсюда и моя ответственность, и чувство вины совершенно по-разному выглядят. В этой связи пример

немецкой нации – пример уникальный. Ведь немцы - это единственная нация, которая, осмысливая опыт Второй мировой войны, предприняла попытку покаяния. А без покаяния невозможно восстановление, невозможно «исправление мира» (на иврите – *тиккун*). К этому можно по-разному относиться, да и проявляется такое покаяние в разных формах – от глубокой нравственной рефлексии (как, например, в романах Генриха Бёлля) до внешне акцентированных, ритуальных действий. В какую-то годовщину Катастрофы я видела, как к памятнику в Бабьем Яру на траурный митинг пришёл немецкий пастор и десять или одиннадцать молодых его учеников. Они встали на колени, а потом просто легли на эту землю, пали ниц, и просили прощения у собравшихся. Молодые ребята... Потом мы говорили с пастором, пастор клялся, что они добровольцы. А ведь в них и камни кидали. И знаете, даже в тех, кто кидал в них камни, я бы и в тех камня не бросила... Разумеется, никакие проблемы вины и ответственности решены быть не могут, даже не могут быть правильно поставлены до тех пор, пока у других народов не будет хотя бы такого покаяния, как у немцев, хотя и у немцев далеко не все так уж бесспорно. Лет десять назад один мой знакомый, уезжавший с семьей в Германию, на мое замечание о том, что немцы сейчас другие, сказал: «Вы знаете, немцы очень дисциплинированный народ. Сейчас им говорят, что нужно любить евреев, и они их любят, не по принуждению. Но если завтра им скажут другое...» Что ж, существует и такая точка зрения; как бы то ни было, в моих интервью с пережившими Холокост отнюдь не редкость рассказы о том, как их спасали именно немцы, а выдавали «свои». Эти аспекты в свое время глубоко осмыслили и представили в публикациях мои израильские коллеги Ирид Абрамски и Анатолий Кардаш¹. В этой связи, вопросы адекватного осмысления событий прошлого продолжают оставаться актуальными и для Украины.

¹ См. также интересную работу на эту тему: *Мадиевский С. А. Другие немцы. Сопротивление спасателей в Третьем Рейхе.* – М.: Дом еврейской книги, 2006. – 112 с.

Ведь хорошо известно: оставленное в прошлом нераскаянное зло бросает свою чудовищную тень и на будущее.

В заключение считаю важным сказать следующее. Пройдя философскую марксистскую школу, я хорошо понимаю, как могут расчеловечивать человека идеология и политика. Сказать, что это для меня *tabula rasa*, я никак не могу. И тем не менее, из всего своего опыта я вынесла такой урок. Нет такой ситуации, даже в условиях Холокоста, а тем более во всей остальной жизни, когда бы человек не имел возможности проявить себя человеком, если у него есть на это установка и душевные силы. С другой стороны, потерять человеческий облик можно в самых комфортных условиях, только захоти. И вот, я прихожу к убеждению, что у каждого человека, каких бы взглядов и какого бы вероисповедания он ни придерживался, к какому бы народу и времени ни принадлежал, меняются только формы проявления его человечности, а сама суть остается. Если человек хочет остаться человеком, он им останется. Если же такого желания, такой установки у него нет - при любых внешних обстоятельствах он способен расчеловечиться до такой степени, что и представить страшно. На самом деле, обращаясь лицом к Абсолюту, живой образ и подобие коего в нас, мы стоим перед ним не группой, не партией, не коллективом, а каждый – один на один, и таким, каков он есть. Отсюда и проистекают вопросы вины, ответственности, толерантности – всего того, о чем мы говорили на этой нашей встрече.

Чепелєва Н.В.

Київ

Інститут психології імені Г.С. Костюка

НАПН України

РОЗВ'ЯЗАННЯ СМИСЛОВИХ ЗАДАЧ ЯК ЧИННИК САМОПРОЕКТУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

Однією із ключових характеристик зрілої особистості є здатність до індивідуального осмислення себе та